

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)

Глава шестьдесят вторая

Заморозки после оттепели

Мое генеральское звание

В конце 50-х – начале 60-х партией, как говорилось, «был взят курс на омоложение литературы». Журналы охотились за новыми талантами, вскоре ими стали пополняться ряды Союза писателей.

28 сентября 1962 года в составе группы «молодых и подающих надежды» был принят в этот Союз и я. За два дня до того мне исполнилось 28 лет. На фоне тогдашнего состава писательской организации я действительно был очень молод, но в то время некоторые из новобранцев были еще моложе. Анатолий Гладилин, будучи на три года моложе меня, еще раньше стал членом СП, Белла Ахмадулина, получившая членский билет в один день со мной, – на пять лет моложе. Принимали нас без лишних формальностей и даже с некоторой помпой. Заседание приемной комиссии вел ее председатель Ярослав Смеляков. Присутствовал первый секретарь Московского отделения СП Степан Щипачев. Смеляков объявил, что, поскольку речь идет о писателях не только молодых, но и ярких, комиссия отходит от обычных формальностей и проводит не тайное, как обычно, а открытое голосование. И мы прошли «единогласно».

Для меня открылась новая полоса. Сегодня звание члена Союза писателей (которых, кстати, несколько – не то три, не то четыре) немногого стоит, а тогда его можно было, пожалуй, приравнять к генеральскому. Писатели, академики, кинорежиссеры были из наиболее уважаемых членов советского общества, небожителями, достойными восхищения и зависти. Членский билет СП давал многие привилегии, и главной из них было право не ходить на службу и самому распоряжаться своим временем. Если обладатель билета не стеснялся им пользоваться, он легко мог получить дефицитный товар в магазине или номер в гостинице, где для «простых» людей никогда не было мест. Члену СП было легче улучшить свои квартирные условия и при этом требовать прибавления к общепринятой норме двадцати метров – «рабочего кабинета». У писателей был свой клуб с хорошим рестораном (ЦДЛ), свои дома творчества в дачных местностях и у Черного, и Балтийского морей, куда можно было поехать за умеренную плату. Причем хоть с женой, хоть с любовницей (в отличие от других советских гостиниц или санаториев здесь штамп в паспорте не смотрели). В поликлинике Литфонда врачи заботились о своих пациентах чуть ли не как о членах политбюро. Каждый год проводилась обязательная диспансеризация с обходом всех врачей. Для пожилых литераторов прикрепленность к такой поликлинике была, конечно, важной привилегией, а мне забота, которая там оказывалась, казалась странной и чрезмерной. Еще недавно, в армии, я очень не любил обращаться врачам, потому что любую жалобу они воспринимали с сомнением и глядели на тебя подозрительно – уж не симулянт ли ты. А здесь – не успели принять в СП, как предложили обойти всех врачей, ко-



ГЕННАДИЙ НОВИКОВ

В своем стремлении сделать систему более жизнеспособной Хрущев не дошел до главного: основ режима не тронул. И при этом зашел так далеко, что соратники-сталинисты все настойчивее требовали от него остановиться. Это случилось при посещении «дорогим Никитой Сергеевичем» художественной выставки в Манеже. Безумный вождь плевался, топал ногами, грозил кулаком, обзывал художников «пидарасами» и стращал их разными карами. Вот тогда-то и похолодало...

торые тебя внимательно выслушивали и выстукивали. У меня возникало желание уклониться от очередного осмотра, но стоило подать заявление на путевку в Дом творчества, и тут уж избежать диспансеризации было нельзя: Литфонд, выдающий путевки, требовал справки из своей же поликлиники. Так что всем писателям раз в год приходилось проходить осмотр.

Как-то я заглянул в поликлиническую лабораторию и увидел стоявшие в ряд баночки с мочой, а на баночках имена: Маршак, Симонов, Твардовский, Эренбург...

А во время первой диспансеризации доктор Райский проверил у меня давление и был полностью удовлетворен.

– У вас давление, – сказал он, – очень хорошее, лучше нормального. Я спросил, что значит лучше.

– Это значит, – объяснил доктор, – что оно у вас немного понижено. Это просто замечательно. Значит, в пожилом возрасте давление будет не слишком повышенным. Вы умеренный гипотоник. Я, между прочим, тоже. Значит, мы с вами будем долго жить.

Через неделю я должен был опять явиться к нему.

– Мне к доктору Райскому, – сказал я в регистратуре.

– Доктор Райский, – ответили мне, – позавчера умер.

Преждевременный оптимизм

В те годы Булат Окуджава заведовал отделом поэзии в «Литературной газете» и жил на редакционной даче в поселке Шереметьево (недалеко от аэропорта). Там я часто его навещал. Однажды, в ноябре 1962 года, сидя у камина, мы говорили о состоянии литературы, об условиях, в которых литератор может честно заниматься своим делом. Булат сказал, что той свободы, которая в настоящее время существуют, ему достаточно для всего, что он пишет и что хотел бы написать. Я сказал, что

этой свободы и мне достаточно. Конечно, цензура многого не разрешала. Нельзя было выдавать военные и государственные тайны (советская цензура, кстати, официально называлась Государственным комитетом по охране государственных тайн в печати). Нельзя было критиковать КПСС, марксизм, ленинизм, советских вождей, но наши с Булатом интересы лежали далеко от политики и позволяли обходить злободневные темы не кривя душой. Через очень короткое время я убедился, что мой оптимизм был преждевременным. Стало ясно, что хлипкая хрущевская оттепель подходит к концу, наступают новые холода, может быть, всеерьез и надолго, и скоро все темы станут достаточно острыми, а мой главный замысел, «Чонкин», который уже зрел во мне, окажется совершенно непроходимым.

Впрочем, тем, кто умел видеть, сразу было видно, что в своем стремлении сделать систему более гибкой и жизнеспособной Хрущев добился многого, но не дошел до главного: основ режима не тронул. И при этом зашел так далеко, что соратники-сталинисты все настойчивее требовали от него остановиться. Время от времени они указывали на то, что развивающееся в умах творческой интеллигенции свободомыслие грозит советскому строю потрясением основ, и подозревали в антигосударственных умыслах прежде всего, конечно же, литераторов. Вспоминали, что венгерская революция 1956 года началась с литературного кружка имени Шандора Петефи. Объявили ужасным проявлением ревизионизма попытку польских писателей отказаться от методов социалистического реализма в пользу социализма «без пшметника», то есть без прилагательного.

Я думаю, что читателю постсоветских времен, если он вникнет, покажутся дикими тогдашние наставления советских идеологов. Он просто не может представить себе, какое серьезное значение придавали руководители партии, правительства и КГБ методам художественного

изображения действительности. Для всех людей искусства, особенно для писателей, существовал единый метод – социалистического реализма, отход от которого приравнивался к попыткам подрыва советского строя. Ни больше, ни меньше. И что интересно, литератор, отказывавшийся считать этот метод единственно правильным, действительно становился врагом советского строя и представлял для него реальную угрозу. Таким уж чувствительным был этот строй.

Суть метода была когда-то кем-то сформулирована так: «Социалистический реализм – это правдивое исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии». Формулировка кажется достаточно четкой, но что она означала на практике? Потом разные советские идеологи давали ей разные толкования. Один из создателей Союза писателей Иван Гронский сказал (цитирую приблизительно): «Социалистический реализм – это Шекспир, Бетховен и Рембрандт, поставленные на службу пролетариату». Несколько позже Сталин сказал каким-то писателям: пишите правду – это, мол, и будет социалистический реализм. Еще позже Шолохов в интервью иностранным корреспондентам на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил: «А черт его знает!» Последняя шутовская формулировка, сочиненная писателями, была: «Социалистический реализм – это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме».

На самом деле, соцреализм был не методом, а рецептом, согласно которому практически все литературные произведения более или менее крупной формы должны были иметь в центре положительного героя, для которого общественное и государственное всегда выше личного. Поэтому герои книг сплошь и рядом жертвовали своим благополучием, здоровьем, а то и жизнью ради выполнения производственных планов, спасения от пожаров или стихийных бедствий государственного имущества, а те книги, герои которых этого не делали, объявлялись в лучшем случае мешанством и «мелкотемьем». Но к началу 60-х появилось уже много романов, повестей, рассказов и стихов, в которых по форме еще соцреалистических авторы позволяли себе внушать читателю по сути вполне безобидные, но по тем временам крамольные мысли и идеи.

Партийные ортодоксы пугались сами, пугали Хрущева и в конце концов, напугали.

Похолодало

В декабре 1962 года я был в Киеве, куда приехал с делегацией московских писателей. Я ехал в двухместном купе с очень посредственным, но очень рекламируемым и очень самовлюбленным поэтом Егором Исаевым, который всю ночь не давал мне спать: пьяный читал стихи, утверждая, что он первый и единственный в мире понял философию войны.

В нашей группе была Наташа Тарасенкова, слабый прозаик, но милая женщина. Мы встречались с молодыми украинскими «письменниками», некоторые из них говорили только на «ридной мове» и даже делали вид, что по-русски не совсем понимают. Очень известная украинская поэтесса Лина Костенко стала по-украински отвечать на какие-то вопросы Наташи. Недолго послушав, Наташа взмолилась:

– Линочка, извини ради Бога, но ведь мы с тобой вместе учились в Литинституте. Ты же знаешь, что я не понимаю по-украински, а я знаю, что ты очень хорошо говоришь по-русски. Я не шовинистка, я ничего не имею против украинской культуры, но, пожалуйста, говори со мной по-русски.

Лина вежливо ответила ей по-украински что-то, чего Наташа не поняла и, не поняв, расплакалась.

Я в отличие от Наташи украинский не только понимал, но и сносно говорил на нем, поэтому у меня проблем в общении с киевскими коллегами не было. Тем более что они, так же, как и мы, советскую власть воспринимали критически. Но в будущем смотрели со сдержанным и, как оказалось, преждевременным оптимизмом.

Как раз во время нашего пребывания в Киеве в Москве разразилась гроза, вошедшая в историю, – посещение Никитой Сергеевичем Хрущевым, которого в газетах уже иначе как «дорогим Никитой Сергеевичем» не называли, художественной выставки в Манеже. Той самой, где безумный вождь плевался, топал ногами, грозил кулаком, обзывал художников «пидарасами» и стращал их разными карами. Вот тогда-то и похолодало. За истерикой в Манеже последовали две встречи руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией. Сначала в Кремле – там Хрущев набросился на молодых писателей, и особенно досталось Вознесенскому и Аксенову. Вторая встреча в том же духе была на Воробьевых горах. Потом совещание рангом пониже вел секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам Леонид Ильичев. Я по малой известности на тех встречах не был и удостоился только приглашения на сборище рангом пониже, которое вел тогдашний секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорьев. Но и там все выглядело достаточно злое. Одни писатели нападали, другие жалко оправдывались, третьи пытались отмолчаться. Некий Кузьма Горбунов набросился на Степана Щипачева за то, что тот, будучи руководителем Московского отделения Союза писателей, вел ревизионистскую линию (очень страшное тогда обвинение) и допустил принятие в члены Союза многих молодых ревизионистов (в числе которых, напомню, был и я). Щипачев вышел на сцену и дрожащим голосом произнес: «Я знаю, ты хочешь моей крови, Кузьма!»

Горбунов со своего места радостно ржал. Было видно, что он действительно хочет крови. Может быть, даже не в фигуральном смысле.

Продолжение следует